

СЕРГЕЙ ГАЛАКТИОНОВ



ПЕРЕРОЖДЁННАЯ  
В ЗЛОДЕЙКУ:  
ХРОНИКИ БАРОНЕССЫ

Попаданцы

Сергей Галактионов

**Перерождённая в злодейку:  
Хроники баронессы**

«Автор»

2026

**Галактионов С. В.**

Перерождённая в злодейку: Хроники баронессы /  
С. В. Галактионов — «Автор», 2026 — (Попаданцы)

Выжить в чужом мире — задача не из лёгких. Особенно если твоё тело принадлежит всеми презираемой дурнушке, твой род на грани банкротства, а в тени королевского дворца уже плетёт интриги всемогущий кардинал. Лиза не собирается покорно ждать казни. Знания современного мира и сюжет чужого романа — её главное оружие. Шаг за шагом она превращает нищее поместье в процветающее герцогство, а врагов — в союзников! Запах её лавандового мыла сводит с ума столичных фрейлин, а её острый ум разрушает планы инквизиции. Она знает чужие слабости и самые грязные секреты двора. И вскоре те, кто должен был стать её палачами, готовы бросить мир к её ногам. Ледяной герцог, чья магия распознает ложь, внезапно понимает, что эта странная девушка — единственная правда в его жизни. История о том, как спасти семью, обыграть целую империю и найти любовь там, где была предначертана смерть.

© Галактионов С. В., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1                           | 6  |
| Глава 2                           | 18 |
| Глава 3                           | 29 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 36 |

# **Сергей Галактионов**

## **Перерождённая в злодейку:**

### **Хроники баронессы**

*«Самые страшные злодейки в романах часто оказываются теми, кто просто отказался покорно умирать по авторскому замыслу»*

*«Судьба — это не книга, написанная чужой рукой. Это чистый лист, который достаётся тому, кто не боится испачкать пальцы в чернилах».*

*.....Не рассказанная запись на той шкатулке.....*

## Глава 1

Страница триста сорок восьмая

Лиза Воронова дочитала книгу в три часа ночи.

Это было дурной привычкой — из тех, что не лечатся, а лишь обрастают ритуалами: чай, непременно остывший, в чашке с отколотым краем; Муська, свернувшаяся на ногах тёплым рыжим клубком; фонарик телефона, подсвечивающий страницы так, что буквы плыли в желтоватом свете, точно водоросли в пруду. Одеяло натянуто до подбородка. Подушка подмята под бок. Мир за окном — мартовская Москва, Бирюлёво, панельная девятиэтажка, двор с покосившимися качелями — этот мир не существовал. Существовала только книга.

«Звезда и Терновый Венец».

Восемьсот двенадцать страниц. Автор — некая Е. Ларне, о которой интернет не знал ровным счётом ничего: ни фотографии, ни биографии, ни даже уверенности в том, что это настоящее имя. Книгу Лиза нашла случайно, на развале у метро «Пражская», между потрёпанным справочником садовода и стопкой журналов «Бурда» за девяносто третий год. Обложка — дешёвая, глянцевая, с нарисованной девицей в корсете и замком на заднем плане — не обещала ничего, кроме необременительного вечера. Лиза купила книгу за тридцать рублей и забыла о ней на неделю.

Потом, в один из тех вечеров, когда хотелось не думать — а думать было о чём: мать позвонила из Краснодара и рассказала о новом ремонте, который делает с Андреем Петровичем, и голос у неё был такой счастливый, такой далёкий, — в один из таких вечеров Лиза вытащила книгу из пакета, открыла на первой странице и пропала.

Е. Ларне писала так, как дышат — легко, неостановимо, с той обманчивой простотой, за которой стоит либо великий талант, либо великое безумие. Мир вставал со страниц осязаемо: каменные замки, пахнущие сыростью и мышами; дороги, утопающие в грязи после дождя; ярмарки с криками торговцев и запахом жареных каштанов; дворцовые залы, где за каждой улыбкой прячется нож. И люди — боже мой, какие люди. Лиза читала много, очень много, читала с восьми лет, когда отец, ещё не пивший, привёл её в районную библиотеку и сказал: «Выбирай любую». Она прочла тысячи книг. Но таких людей — живых, тёплых, пахнущих потом и страхом и надеждой — она не встречала давно.

Пять сестёр. Дочери нищего барона. Каждая — со своей болью, своим светом, своей тьмой.

И среди них — Элоиза. Четвёртая.

Элоиза, которую автор не любила. Это чувствовалось в каждой строчке: в том, как описывалась её внешность (всегда через чужие глаза, всегда с отвращением), в том, как строились её диалоги (ни одной умной реплики, ни одного проблеска), в том, как мир вокруг неё сжимался до размеров кухни, откуда она крала еду, и чулана, где она плакала. Элоиза была функцией. Механизмом сюжета. Шестерёнкой, которая в нужный момент провернётся — и обрушит всё.

На странице двести семнадцатой Элоиза, снедаемая завистью к младшей сестре Селесте — к её красоте, к её дару, к тому, что её любят, — пишет донос инквизитору. На странице двести восемьдесят шестой инквизитор приходит за Селестой. На странице триста двенадцатой кардинал, воспользовавшись хаосом, достаёт из сейфа старое письмо с печатью барона — доказательство участия в давнем заговоре. На странице триста двадцатой семью арестовывают.

А дальше — казни. Одна за другой, с невыносимой, подробной, жестокой точностью.

Отца — на площади перед собором. Топором. Он не просил пощады. Он просил только, чтобы дочерям сохранили жизнь.

Мать — в тюрьме. Она выпила яд сама, до того как за ней пришёл палач. В последний момент она попросила тюремщика передать мужу, что любит его. Тюремщик не передал. Муж был уже мёртв.

Аделаиду — на виселице. Она плюнула палачу в лицо.

Беатрису — в монастыре, куда её заточили. Она повесилась на простыне. Под простынёй нашли её рисунки — сотни рисунков, которые никто никогда не видел.

Клеманс — в переулке, тихо, ножом под ребро. Наёмник. Она даже не успела понять, что произошло. В руке у неё был зажат дневник — тот самый, в котором она записывала наблюдения за всеми обитателями замка. Наёмник выбросил его в канаву.

Селесту — на костре. Как ведьму. Толпа улюлюкала. Автор описала запах горящей плоти — одним предложением, коротким и точным, как удар ножа. Лиза прочла это предложение и зажала рот рукой.

А Элоизу — последней. На эшафоте. Палач поднял топор. Элоиза стояла на помосте и смотрела в толпу мутными, ничего не понимающими глазами. Она, похоже, до последней секунды не осознавала, что это — конец. Что её, написавшую тот донос, тоже не пощадили.

Страница триста сорок восьмая.

Топор опустился.

А дальше — ещё четыреста шестьдесят четыре страницы. Потому что это была не история семьи де Грасс. Это была история Селесты — её посмертная слава, её влияние, то, как три мужчины, любившие её, перекроили мир после её смерти. Кронпринц Лоран, сжигаемый виной, сверг отца и кардинала, но стал тираном страшнее обоих. Герцог Рейнар увёл свои северные земли из-под короны и замкнулся в ледяном одиночестве. Маг Астерион покинул Башню Знаний и ушёл в пустоши, где, по слухам, пытался воскресить мёртвых.

Финал был открытым. Мир лежал в руинах. Никто не победил. Никто не был счастлив.

Лиза закрыла книгу.

Муська подняла голову, посмотрела на хозяйку жёлтыми глазами и зевнула.

Лиза сидела в темноте долго — может быть, минуту, может быть, десять. Чай в чашке давно остыл. За окном гудел запоздалый трамвай.

— Дура, — сказала она наконец, и голос прозвучал хрипло в тишине пустой квартиры. — Какая же ты дура, Элоиза.

Она провела пальцем по обложке. Девушка в корсете смотрела на неё нарисованными глазами.

— Всё ведь можно было спасти. Отца — если бы кто-нибудь нашёл то проклятое письмо раньше. Мать — если бы кто-нибудь додумался написать Луизе де Шатонёф, когда ещё было время. Аделаиду — если бы она перестала гордиться и приняла помощь. Беатрису — если бы хоть одна душа сказала ей, что её рисунки прекрасны. Клеманс — если бы кто-нибудь прочитал её дневник. Селесту...

Она замолчала.

— Селесту — если бы ты, — Лиза ткнула пальцем в обложку, — если бы ты, Элоиза, тупая завистливая королева, не побежала к инквизитору.

Муська мяукнула. То ли согласилась, то ли попросила есть.

— Ну ладно, — Лиза потёрла глаза. Они горели от усталости и слёз, которых она не заметила. — Ладно. Спать пора. Завтра в восемь на работу.

Она положила книгу на тумбочку — аккуратно, корешком к стене, как всегда. Поставила телефон на зарядку. Натянула одеяло до подбородка. Муська переползла ей на живот и замурлыкала.

Лиза закрыла глаза.

И подумала — последняя мысль перед сном, зыбкая и несерьёзная, из тех, что утром забываются: «Если бы я попала в эту книгу — если бы я была Элоизой — я бы всё изменила. Я знаю каждый их секрет. Каждое предательство. Каждый поворот. Я бы спасла их. Всех».

Она уснула.

---

И провалилась.

Не в сон — потому что сны не пахнут. Сны не тяжелят тело. Сны не ломают в висках, не скручивают живот, не обжигают горло кислотой. А это — это всё делало. Лиза падала, и падение было не вниз — оно было внутрь, словно её затягивало в воронку, как воду в слив, и мир вокруг — Москва, панельная девятиэтажка, рыжая кошка на животе — утекал сквозь пальцы, как песок, как дым, как последний вздох.

Запахи ударили первыми. Сырость. Камень. Дым — не сигаретный, а древесный, тяжёлый, от сырых дров. Солома — прелая, кислая. И что-то ещё — животное, тошнотворно-сладкое, — запах немытого тела. Чужого тела.

Потом — звуки. Скрип. Шорох. Далеко, очень далеко — крик петуха, тонкий и пронзительный, как будто птицу резали. Ближе — капель. Где-то протекала крыша, и вода падала на камень: тук, тук, тук. Мерно. Безжалостно.

Лиза хотела открыть глаза, но веки были чугунными. Она хотела пошевелить рукой — рука не слушалась. Тело — это тело, чужое, тяжёлое, болезненное — лежало пластом, придавленное чем-то, что было не одеялом и не сном, а скорее усталостью. Чудовищной, многолетней усталостью — усталостью человека, который устал быть собой.

Наконец веки поддались.

Потолок.

Низкий. Каменный. В пятнах копоти и плесени. Паутина в углах — густая, многослойная, паук жил здесь давно и чувствовал себя хозяином.

Не её потолок.

Лиза вдохнула — и поперхнулась. Воздух был густой, как каша. Она закашлялась, и кашель был чужим: грудным, лающим, кашлем простуженного тела, которое давно и привычно болело.

Она подняла руку.

Медленно. Как во сне — но это не было сном, она уже знала это, знала с тошнотворной ясностью, потому что сны не бывают такими подробными, такими жестокими в деталях.

Рука.

Тонкая. Бледная — не аристократической белизной, а болезненной, подвальной, кожа, которая не видела солнца. Ногти обгрызены до мяса. Костяшки в цыпках — красных, потрескавшихся, местами кровоточащих. На безымянном пальце — кольцо. Тусклое серебро, гравировка, стёртая временем, но различимая: три лилии и меч.

Сердце — чужое сердце — подпрыгнуло и ударилось о рёбра.

Лиза знала этот герб.

Три лилии и меч. Род де Грасс. Баронство де Грасс. Замок де Грасс — обветшалый, заложенный, стоящий на холме посреди тощих полей, с двенадцатью комнатами, шесть из которых заколочены, с протекающей крышей, ржавыми перилами и призраками мебели под простынями.

Она знала этот герб, потому что прочла о нём на третьей странице книги, которая лежала сейчас на тумбочке в московской квартире. Или не лежала. Или тумбочки больше не было. Или квартиры. Или Москвы.

Нет.

Лиза села — рывком, и голова взорвалась болью, мутной, тягучей, похмельной. Мир перед глазами дрогнул и поплыл: стены, узкое окно, серый свет, каменный пол, лежанка, на

которой она сидела — деревянная, с соломенным тюфяком, от которого шёл тот самый прелый кислый запах.

Она посмотрела вниз.

Грубая полотняная рубашка — серая, мятая, в пятнах пота, с прорехой на плече. Под рубашкой — тело, которое не было её телом. Худое, но не стройное — изнурённое. Острые ключицы. Рёбра, ощутимые под пальцами. Живот — мягкий, рыхлый, парадокс нездорового питания: мало еды, но вся — хлеб и каша, ни мяса, ни зелени. Ноги — тонкие, в синяках: один на колене, жёлто-зелёный, старый; другой на голени, свежий, фиолетовый. Откуда синяки — Лиза не знала. Может быть, настоящая Элоиза была неуклюжей. Может быть, кто-то бил её. Может быть, и то и другое.

Она подняла руку к лицу.

И нащупала.

Воспаления. Россыпь — на лбу, на щеках, на подбородке. Одни — мелкие, зернистые. Другие — крупные, болезненные, воспалённые, горячие под пальцами. Кожа вокруг них — грубая, шершавая, с шелушением.

Нет. Нет, нет, нет.

Лиза Воронова не была красавицей. Она это знала, спокойно и без надрыва: обычное лицо, обычная фигура, обычные каштановые волосы, убранные в обычный хвост. Она не красилась, не ходила к косметологу, не покупала кремов дороже трёхсот рублей. Но она была здорова. Здорова и чиста — в самом простом, физическом смысле этого слова.

Это тело не было здоровым. Оно было запущенным. Заброшенным, как тот замок, в котором оно обитало. Тело, которое никто никогда не любил — в том числе его хозяйка.

Лиза опустила руку.

Комната. Надо осмотреть комнату.

Клетушка — слово было точным. Шагов пять в длину, четыре в ширину. Стены — камень, неоштукатуренный, местами мокрый. Пол — тоже камень, с выбоинами. Окно — узкое, без стекла (стекло здесь стоило состояние), прикрытое ставней, через щели которой пробивался серый свет. Стол — колченогий, с двумя огарками свечей в оловянных подсвечниках и кружкой, в которой стояла засохшая ромашка. Стул — один, со сломанной спинкой, подпёртой щепкой. Сундук у стены — обитый облезлой кожей, без замка.

На стене напротив кровати — рисунок. Грубый, сделанный углём, но уверенной рукой: три лилии и меч. Герб рода. Настоящая Элоиза нарисовала его сама — единственное, что у неё получалось.

Я в книге.

Мысль была простой, как факт. Как «за окном дождь». Как «хлеб кончился». Как «я умерла и проснулась в теле Элоизы де Грасс, четвёртой дочери барона, той самой дуры, которая погубит всю семью, и меня казнят на странице триста сорок восьмой».

Паника пришла не сразу. Она накатывала волнами, как тошнота — медленно, снизу вверх. Сначала похолодели пальцы. Потом задрожали руки. Потом перехватило горло, и Лиза — Элоиза — обхватила себя руками и сжалась в комок на краю лежанки, и зубы застучали, и слёзы — чужие слёзы, солёные и горячие — покатались по чужим щекам, обжигая воспалённую кожу.

Муська. Моя кошка. Моя квартира. Мой чайник с отколотым краем. Мои книги — три полки, от пола до потолка, — Толстой, Дюма, Остин, Пратчетт, Толкин, дурацкий любовный роман, который я стащила у соседки в девятом классе и так и не вернула. Мой мир. Моя жизнь. Маленькая, пустая, одинокая — но моя.

Она плакала минуту. Или две. Или пять. Потом — остановилась.

Не потому что легчало. Потому что слёзы — это роскошь, а у Элоизы де Грасс времени на роскошь нет.

Девять месяцев.

Лиза вытерла лицо рукавом рубашки.

Через девять месяцев кардинал де Вуазен достанет из сейфа письмо с печатью отца. Через десять месяцев семью арестуют. Через одиннадцать — начнутся казни. Через тринадцать — топор палача опустится на мою шею.

Она разжала кулаки. Посмотрела на свои руки — обгрызенные ногти, цыпки, грязь.

Но я знаю. Я знаю всё. Каждый поворот, каждый секрет, каждое предательство. Я прочла все восемьсот двенадцать страниц.

Управляющий Жервэ ворует — я знаю схему.

Граф де Монфор хочет отобрать поместье — я знаю его слабость.

Кардинал держит письмо в личном сейфе, в покоях при кафедральном соборе — я знаю, где именно.

Инквизитор Амброз придёт за Селестой — я знаю, когда и почему.

Маркиза Сибилла распустит слух — я знаю, какой.

И я знаю, что у принца Лорана шрам на левой скуле, что герцог Рейнар чувствует ложь левой рукой, что маг Астерион не ощущает боли. Я знаю, что отец Сибиллиного сына — Рейнар. Я знаю, что Клеманс ведёт дневник наблюдений. Я знаю, что Тибо — бастард барона. Я знаю, что Луиза де Шатонёф — ключ к аудиенции при дворе. Я знаю, что Изабель де Монфор ненавидит мужа и ждёт, когда кто-нибудь протянет ей руку.

Я знаю всё.

И у меня есть то, чего нет ни у одного человека в этом мире: знания двадцать первого века. Мыловарение. Трёхпольный оборот. Двойная бухгалтерия. Кипячение воды. Овсяные маски. Ивовая кора от жара. Мёд как антисептик. Пилатес для осанки. Уксус для блеска волос.

Смешно. Библиотекарь из Бирюлёва спасает средневековый баронский род.

Но ведь библиотекарь — это человек, который прочёл тысячу книг. А книги — это концентрированный опыт тысяч людей. И если подумать — если честно, трезво подумать — то я знаю больше, чем любой мудрец этого мира. Не потому что я умнее. А потому что я стою на плечах гигантов, которые здесь ещё не родились.

Лиза — Элоиза — медленно расправила плечи. Ссутуленные, привычно вжатые — плечи человека, который всю жизнь пытался стать поменьше, незаметнее, — расправились с тихим хрустом.

Я перепишу эту книгу.

Рассвет пробивался через щели в ставне. Свет был серым — утро только начиналось. Где-то внизу, во дворе, заголосил петух. Застучали копыта — кто-то выводил лошадей. Загремела посуда на кухне.

Замок просыпался.

Лиза встала.

Ноги были слабыми — мышцы ныли, колени подрагивали. Тело Элоизы не привыкло стоять прямо. Оно привыкло горбиться, волочить ноги, утыкаться взглядом в пол. Лиза заставила его выпрямиться — и это потребовало усилия, физического, мышечного, как будто она поднимала штангу.

Первым делом — вода.

Она нашла таз и кувшин в углу, за сундуком. Медный таз, позеленевший от времени, с вмятиной на боку. Глиняный кувшин — полный, слава богу. Вода пахла затхлостью, но была прозрачной. Кто-то — Нанетта, скорее всего, больше некому — наполнял его каждый вечер.

Лиза плеснула себе в лицо. Холод обжёг кожу — воспалённую, раздражённую, — и она зашипела сквозь зубы, но не остановилась. Плеснула ещё раз. Ещё. Вода стекала по шее, по ключицам, впитываясь в рубашку.

Потом она намочила край рубашки и протёрла лицо — аккуратно, не давя на воспаления. В двадцать первом веке она бы протёрла мицеллярной водой, нанесла бы салициловый лосьон, увлажняющий крем с ниацинамидом. Здесь — мокрая тряпка и надежда.

Ничего. Через неделю я сварю первое мыло. Через две — сделаю отвар ромашки. Через месяц эта кожа будет чистой. Не идеальной — чистой. А чистая кожа и уверенная осанка — это уже половина красоты.

Она подошла к сундуку, открыла крышку. Петли заскрипели — протяжно, жалобно.

Внутри — два платья. Одно — серое, льняное, застиранное до белёсых пятен на локтях и коленях, но целое. Другое — тёмно-бурое, шерстяное, с заплаткой на левом рукаве, аккуратно поставленной рукой, которая умела шить, но не имела хорошей ткани. Нижнее бельё — сорочка из грубого полотна, чулки — серые, штопанные, но чистые. Нанетта штопала. Лиза была в этом уверена, хотя понятия не имела, откуда берётся эта уверенность — из воспоминаний Элоизы или из текста романа.

Она выбрала серое платье. Оделась — медленно, неловко, сражаясь со шнуровкой, которая шла спереди и требовала навыка, которого у Лизы не было. Пальцы — чужие, непослушные — путались в завязках. Дважды она затянула шнурок не в ту петлю и начинала сначала.

Привыкну. Ко всему привыкну. У меня нет выбора.

Волосы. Она нашла гребень на столе — деревянный, самшитовый, с одним обломанным зубцом. Провела по волосам — и гребень застрял. Волосы были спутаны, засалены, свалившиеся — Элоиза, судя по всему, не расчёсывалась днями. Лиза стиснула зубы и начала распутывать — прядь за прядью, с концов, как учили ютуб-ролики о кудрявом методе ухода. Ролики, которые она смотрела в три часа ночи, вместо того чтобы спать, — потому что спать было одиноко, а на экране телефона люди улыбались и говорили ласковыми голосами, как будто обращались лично к ней.

Через десять минут волосы были расчёсаны. Тусклые, каштановые, длинные — до лопаток. Лиза заплела их в косу. Без зеркала. В этой комнате зеркала не было.

Неважно. Скоро я захочу в него посмотреть.

Она стояла посреди комнаты — одетая, причёсанная, умытая — и чувствовала себя солдатом перед боем. Солдатом, у которого нет ни оружия, ни доспехов, ни армии. Только карта вражеских позиций.

Девять месяцев. Восемьсот двенадцать страниц. Я перепишу каждую.

Но начну с малого. С самого первого шага.

Она посмотрела на дверь.

Матильда.

---

Лестница вниз была узкой и тёмной. Ступени — каменные, стёртые посередине поколениями ног — блестели от сырости. Перила — железные, ржавые — шатались под рукой. Лиза спускалась осторожно, придерживаясь за стену, и стена была холодной и влажной под пальцами.

Замок де Грассов был стар. Не благородной старостью кафедральных соборов, а старостью бедности — старостью вещи, которую чинили, штопали, латали, подпирали, но никогда не имели денег заменить. Штукатурка облетела, обнажив кладку. Гобелены, некогда висевшие на стенах — Лиза видела их следы, — были давно проданы. Факельные держатели торчали из стен пустыми железными руками.

На втором этаже — три двери. За ними спали сёстры. Аделаида — одна, в самой большой комнате, потому что она старшая и потому что никто не осмеливался с ней спорить. Беатриса и Клеманс — вместе, через стену. Селеста — одна, в комнатке рядом с родительской спальней, потому что Маргарита хотела держать младшую дочь поблизости.

Элоиза жила на третьем этаже. Одна. В чулане. Потому что ни одна из сестёр не согласилась делить с ней комнату, а родители — сделали вид, что это нормально.

Ничего. Это тоже изменится.

Кухня была в подвале — и Лиза услышала её задолго до того, как увидела. Грохот. Шипение. Лязг металла о металл. И голос — низкий, хриплый, командный, принадлежавший женщине, которая привыкла, что её слушаются с первого раза.

Берта.

Лиза остановилась на последней ступеньке. Вдохнула. Выдохнула.

Это важно. Это — первый камень в фундаменте. Всё, что я сделаю дальше, стоит на этом.

Она вошла.

Кухня была единственным тёплым местом в замке. Огромный камин — в полстены, — в котором горел огонь, настоящий, жаркий, от которого лицо обдало волной тепла. Над огнём — котёл, в котором булькало что-то серое и густое: каша, должно быть, из проса. На столе — грубо сколоченном, из толстых дубовых досок, с вековыми ножевыми отметинами — лежали овощи: репа, капуста, три сморщенных яблока, пучок чего-то зелёного. На крюке над камином висела четверть туши — тощей, жилистой, — и Лиза не могла определить, баранина это или козлятина.

Берта стояла у стола и месила тесто. Женщина была под стать своей кухне: широкая, мощная, с руками, которые, казалось, могли согнуть подкову. Лицо — красное от жара, с крупным носом и маленькими, глубоко посаженными глазами. Рот — тонкий, жёсткий, привыкший командовать. Волосы — убранные под платок, из-под которого выбивались седые пряди. Берта служила в замке тридцать лет. Она пережила трёх управляющих, двух кухонных мальчишек, эпидемию лихорадки и набег разбойников. Её боялись все — включая, судя по всему, барона.

А у стола, спиной к двери, стояла Матильда.

Маленькая. Тоненькая. Рыжие волосы, убранные под чепец, из-под которого выбивались непокорные веснушчатые пряди. Она чистила репу — и руки у неё дрожали. Лиза видела, как дрожит нож — мелко, нервно, — и подумала: она режет себе пальцы. Каждое утро. Потому что каждое утро она ждёт, когда в кухню войдёт Элоиза.

Матильда услышала шаги. Обернулась.

И её лицо — открытое, веснушчатое, шестнадцатилетнее лицо девочки, которая была слишком мала для того ужаса, который ей достался, — это лицо окаменело.

— Г-госпожа Элоиза...

Голос был тихим. Сдавленным. Голосом зверька, который видит, как к клетке подходит рука.

Берта обернулась. Руки её, по локоть в тесте, замерли. Взгляд — тяжёлый, оценивающий — скользнул по Лизе сверху вниз и обратно. В этом взгляде было многое: раздражение (опять припёрлась), привычная готовность к скандалу (будет орать, швырять, требовать), усталость (двадцать лет терпеть этот дом) — и что-то ещё. Что-то, похожее на жалость, быстро задавленную.

Лиза стояла на пороге.

Вот оно.

Она сделала шаг вперёд. Матильда попятилась — привычно, автоматически, как животное, приученное к побоям. Нож в её руке дрогнул. Репа упала на пол и покатилась под стол.

Лиза остановилась.

И сделала то, чего Элоиза де Грасс — настоящая Элоиза, та, что прожила в этом теле семнадцать лет — не делала ни разу.

Она опустилась на колени.

На грязный каменный пол кухни, пропитанный жиром и золой, заваленный обрезками овощей и ореховой скорлупой. В сером платье с белёсыми пятнами на локтях. Перед шестна-

дцатилетней служанкой, которая смотрела на неё так, как смотрят на сумасшедшего, — с ужасом и надеждой одновременно.

Берта выронила ком теста. Он шлёпнулся на стол с влажным звуком.

— Матильда, — сказала Лиза.

Голос дрогнул. Не от притворства — от правды. Потому что Лиза Воронова знала, что такое быть козлом отпущения. Знала с третьего класса, когда Наташка Прохорова и её свита решили, что Лиза — удобная мишень. Знала с пятого, когда перестала плакать и начала молчать. Знала с восьмого, когда поняла, что молчание — это не защита, а капитуляция, и что настоящая защита — это когда кто-нибудь встанет между тобой и ударом.

Никто не встал. Ни разу. За все десять лет школы.

И теперь Лиза стояла на коленях перед девочкой, которой тоже никто не помог, и говорила:

— Матильда, прости меня.

Тишина.

Огонь потрескивал в камине. Котёл булькал. Где-то за стеной скрипнула дверь.

— Прости меня за каждый раз, когда я на тебя кричала. За каждый раз, когда бросала в тебя вещи. За тот раз... — Лиза запнулась, потому что память Элоизы подсунула ей картинку, от которой стало дурно: рука, летящая к лицу, — за тот раз, когда я тебя ударила. Ты ни в чём не была виновата. Ни в чём. Виновата была только я.

Матильда стояла, не двигаясь. Нож в её руке замер. Глаза — светлые, зелёные, окружённые россыпью веснушек — были огромными.

— Я не прошу, чтобы ты простила меня прямо сейчас, — продолжала Лиза. — Я не заслужила прощения. Может быть, никогда не заслужу. Я прошу только об одном: дай мне шанс стать другой.

Из глаз Матильды покатались слёзы — беззвучно, крупными каплями, по веснушчатым щекам. Она не всхлипывала. Не утирала их. Просто стояла, и плакала, и смотрела на Элоизу, которая стояла перед ней на коленях, — и не понимала, не могла понять, что происходит.

Берта тоже смотрела. И на лице у неё — на этом широком, красном, жёстком лице — было выражение, которое Лиза не сразу опознала. Потом опознала.

Замешательство.

Берта была замешана. Берта, которую не приводило в замешательство ничто — ни дохлые мыши в муке, ни пьяные конюхи на кухне, ни визит налогового сборщика, — Берта смотрела на Элоизу де Грасс и не понимала, что видит.

Долгая, оглушительная пауза.

Потом Матильда — маленькая, перепуганная, шестнадцатилетняя Матильда — сделала то, чего не делала ни одна служанка ни одной злобной барышне в истории этого мира.

Она протянула руку.

Красную, потрескавшуюся, пахнущую репой руку — и помогла госпоже подняться с колен.

---

Лиза вышла из кухни с куском хлеба и яблоком. Хлеб — грубый, ржаной, корка как подошва, но мякиш внутри — тёплый и пахнущий так, как не пахнет ни один московский батон: дровами, закваской, временем.

Она не украла. Она попросила. Сказала: «Берта, можно мне хлеба и яблоко? Пожалуйста». И «пожалуйста» было ключевым словом — настоящая Элоиза его не знала.

Берта дала. Молча. Но взгляд её — оценивающий, тяжёлый — стал чуть другим. Не мягче — внимательнее. Как будто кухарка увидела что-то новое и пока не решила, что с этим делать.

Нормально. Пусть думает. Думающий человек — потенциальный союзник. А мне нужны союзники. Все, какие найдутся.

Лиза откусила хлеб и пошла наверх, жуя на ходу. Тело требовало еды — остро, болезненно, — и она поняла, что настоящая Элоиза была голодна постоянно. Не из-за того, что её не кормили — за общим столом она ела вместе со всеми, — а из-за того, что она крада еду ночами, набивая живот хлебом и кашей, и этот хлеб и каша проваливались в пустоту, потому что голод Элоизы был не физическим.

Он был голодом по любви.

Я знаю этот голод. Знаю, как он грызёт. Знаю, как заедаешь его чем попало — едой, книгами, молчанием. Знаю, как просыпаешься в три часа ночи и чувствуешь его зубы.

Но сейчас — не время для самокопания. Сейчас — время для второго шага.

Она поднялась на второй этаж. Прошла мимо комнат сестёр — за дверями было тихо, они ещё спали — и остановилась перед кабинетом отца.

Дверь — тяжёлая, дубовая, с железными заклёпками. Из-под неё пробивалась тонкая полоска света. Свеча. Барон не ложился.

Лиза знала это из романа: Годфруа де Грасс не спал ночами. Сидел в кабинете, пересчитывал доходы, которых не было, и долги, которых было слишком много, и пил дешёвое вино — не от склонности к пьянству, а от безнадёжности. В романе это было фоном, деталью, скупой упомянутой в одном абзаце: «Барон не ложился до рассвета, и жена слышала, как он ходит по кабинету, и плакала в подушку». Лиза прочла это, не задержавшись, — а теперь стояла перед дверью и слышала эти шаги. Тяжёлые. Медленные. Шаги человека, который ходит по кругу, потому что идти некуда.

Она постучала.

Шаги замерли.

— Что? — голос из-за двери — усталый, раздражённый, хриплый от вина и бессонницы.

— Отец, это Элоиза.

Пауза. Длинная. В ней уместилось многое: удивление (Элоиза никогда не приходила к отцу), подозрение (что ей надо?), инерция привычной тоски (ещё одна проблема, которую нечем решить).

— Мне нужно поговорить с вами, — сказала Лиза. — О Жервэ.

Пауза стала ещё длиннее.

Потом дверь открылась.

Годфруа де Грасс стоял в проёме, и Лиза увидела его — впервые увидела не буквами на странице, а живого, настоящего, пахнущего кислым вином и свечным воском. Высокий — выше, чем она представляла. Широкоплечий, но плечи согнуты, как будто на них лежит что-то невидимое и тяжёлое. Борода — не рыжая, как она вообразила по описанию, а скорее ржавая, с обширной проседью, неровно подстриженная. Глаза — карие, усталые, в красных прожилках. На нём была куртка — некогда хорошая, суконная, тёмно-синяя, — теперь вытертая на локтях до белизны. Руки — большие, с чернильными пятнами на пальцах: он сам вёл счетные книги.

Он смотрел на дочь.

И в его взгляде Лиза прочла — с пронзительной ясностью, которую давал не магический дар, а простой человеческий опыт, — что Годфруа де Грасс любит свою четвертую дочь. Любит, как любят больного ребёнка: с болью, с виной, с беспомощностью. Он не знает, как до неё достучаться. Он пробовал — давно, когда Элоиза была маленькой, — и не смог, и сдался, и с тех пор проходит мимо, опустив глаза, потому что смотреть на неё — это смотреть на своё поражение.

— Об управляющем? — переспросил он. — Зачем тебе?..

— Он ворует у вас, — сказала Лиза.

Прямо. Без предисловий. Без извинений. Как факт.

Годфруа моргнул.

— Треть доходов, — продолжала она. — Третий год. Может быть, дольше — я не уверена. Он ведёт двойные книги. Те, что он показывает вам, — подложные. Настоящие — у него, в его комнате, в сундуке. Ключ — на шее, на шнурке, под рубашкой.

Барон смотрел на неё. Не перебивал. Лицо его было неподвижным, но что-то менялось в глазах — тусклый свет, как угасший уголь, в который подули.

— Это легко проверить, — сказала Лиза. — Не нужно вскрывать сундук и не нужно никого обвинять. Достаточно сравнить количество телег, вывозящих зерно, с цифрами в его отчётах. Телеги считать проще, чем мешки, — их видно со стены. Я считала три дня подряд.

Это было ложью — она считала не три дня, а прочла об этом в романе, где факт воровства Жервэ вскрывался на странице четыреста двадцатой, когда было уже поздно, потому что деньги были украдены, поместье — заложено, семья — на пороге гибели. Но ложь эта была необходимой и, что важнее, проверяемой: если барон проследит за телегами хотя бы неделю, он увидит всё сам.

— Откуда ты?.. — начал Годфруа и осёкся.

— Я наблюдала, — сказала Лиза. — У меня много свободного времени, отец. Я ничего не делаю в этом доме — вы это знаете. Все это знают. Но я... — она замолчала, и это молчание было настоящим, потому что следующие слова были трудными, — я хочу это изменить. Я хочу быть полезной. Впервые в жизни.

Годфруа де Грасс простоял в дверях ещё несколько секунд. На лице его — за бородой, за усталостью, за коркой многолетнего отчаяния — что-то дрогнуло. Он не знал, что именно. Может быть, надежда. Может быть, просто удивление, которое было так непривычно, что он принял его за надежду.

— Войди, — сказал он.

И посторонился.

---

Кабинет барона де Грасса пах воском, чернилами, кислым вином и безнадёжностью.

Стены — голый камень, с одним-единственным гобеленом, чудом не проданным: вытканый охотничий сюжет, выцветший до призрачности, на котором собаки и олени слились в единое бежевое пятно. Стол — массивный, дубовый, заваленный бумагами: счетные книги, письма, расписки, долговые обязательства. Два подсвечника — оловянных, с огарками, оплывшими до плоских лужиц воска. Чернильница — початая. Перо — гусиное, обкусанное на кончике. Кубок — медный, с остатками вина.

На стене — карта.

Лиза подошла к ней, и сердце сжалось.

Карта владений рода де Грасс. Выполненная на пергаменте, некогда красивая — с миниатюрными рисунками деревьев, рек, холмов. Поместье, леса, пахотные земли, деревни. Всё, что поколения де Грассов нажили за три века.

Половина была перечёркнута красными линиями.

Проданное. Заложённое. Отданное за долги. Утраченное по суду. Каждая красная линия — маленькая смерть. Лес, в котором барон охотился в юности, — продан графу де Монфору. Мельница на реке — заложена ростовщику. Деревня Сен-Пьер, сорок дворов, — отошла короне за неуплату налогов. И так далее, и так далее: красные линии, как шрамы на теле семьи.

— Садись, — сказал Годфруа, указывая на стул.

Лиза села. Барон не сел — он стоял у стола, опираясь на него обеими руками, и смотрел на дочь, и в его взгляде смешивались недоверие и что-то ещё — что-то, что он, по-видимому, давно разучился чувствовать.

— Говори, — сказал он.

И Лиза начала.

Она говорила спокойно, методично, излагая факты один за другим, — так, как её учили на библиотечных курсах по каталогизации: системно, без эмоций, с конкретными цифрами. Она не была бухгалтером — но в библиотеке, где она работала восемь лет, был отдел экономической литературы, и от скуки — от той великой, плодотворной скуки, которая движет библиотекарями, — Лиза прочла две книги по основам аудита, одну по бухгалтерскому учёту для малого бизнеса и три по истории экономики. Она знала, что искать: расхождения между входящими и исходящими потоками. Физические объёмы — количество телег, мешков, бочек — против записанных цифр. Цены продажи — против рыночных. Схема была простой, как всякая хорошая схема: Жервэ записывал в книги заниженный урожай и завышенные расходы, а разницу — живые деньги, зерно, масло — присваивал.

Годфруа слушал. Не перебивал. Стоял, опустив голову, и пальцы его — в чернильных пятнах — побелели на столешнице.

— Я могу ошибаться, — закончила Лиза. — Я прошу вас проверить. Неделя — этого достаточно. Посчитайте телеги сами. Или попросите Тибо — он честный.

Годфруа поднял голову.

— Тибо, — повторил он. И в голосе его что-то дрогнуло.

Лиза знала почему. Тибо — бастард барона. Об этом знал весь замок, кроме самого Тибо. Годфруа никогда не признал его — не потому что не хотел, а потому что боялся опозорить жену. И вот теперь его законная дочь — та, на которую он давно махнул рукой, — предлагает ему довериться незаконному сыну.

— Почему? — спросил барон. Не «почему Тибо» — «почему ты». Почему ты, Элоиза, вдруг стала другой. Почему ты, которая вчера украла с кухни пирог и обругала горничную, сегодня стоишь передо мной и говоришь вещи, которых я не слышал от своего управляющего за десять лет.

Лиза посмотрела ему в глаза.

— Потому что я проснулась, — сказала она. — Я долго спала, отец. Очень долго. И мне снились дурные сны. А сегодня я проснулась и увидела, что дом рушится, и поняла, что должна помочь.

Это было правдой. Не всей — но правдой.

Годфруа де Грасс молчал. Потом отвернулся к окну. За окном серел рассвет — полоска света над чёрным лесом. Где-то во дворе Тибо вёл лошадей на водопой — его голос, молодой и сильный, звенел в утреннем воздухе.

— Я проверю, — сказал барон, не оборачиваясь.

И Лиза услышала в его голосе то, чего не слышала ни на одной из восьмисот двенадцати страниц.

Надежду.

Второй камень.

Она встала. Подошла к двери. Остановилась.

— Отец.

— Что ещё?

— Когда вы убедитесь, что я права, — а вы убедитесь, — я хочу поговорить с вами о трёхпольном обороте, о мыловарении и о том, как погасить долг графу де Монфору, не продавая ни пяди земли.

Годфруа обернулся. Посмотрел на неё — долго, пристально, — как будто видел впервые.

— Иди, — сказал он.

Лиза вышла.

За дверью, в полутёмном коридоре, она прислонилась к стене и закрыла глаза. Руки дрожали. Колени подгибались. Сердце — чужое сердце, которое становилось её сердцем — колотилось так, что отдавало в горле.

Два шага. Два камня. Фундамент.

Она открыла глаза.

А теперь — третий.

Из-за двери в конце коридора — из комнаты Клеманс и Беатрисы — послышался шорох. Кто-то проснулся. Кто-то лёгкими, бесшумными шагами подошёл к двери и — Лиза была в этом уверена — приложил ухо к щели.

Клеманс.

Третья сестра. Тихая, наблюдательная, невидимая. Та, что замечала всё.

Лиза улыбнулась. Впервые за это утро — улыбнулась, и чужое лицо, непривычное к улыбке, ответило неловко, криво, как разучившийся механизм.

Ты слышала, Клеманс? Хорошо. Запиши это в свой дневник.

Записывай всё. Скоро я приду к тебе и скажу то, чего тебе ещё никто не говорил.

Скоро.

А пока — мыло. Нужна зола. Нужен жир. Нужен котёл, которым Берта, возможно, согласится поделиться, если я попрошу правильно.

И нужна ромашка. Много ромашки. Она растёт за южной стеной, у ручья. Я знаю, потому что на сто третьей странице Селеста собирала там цветы.

Лиза оттолкнулась от стены и пошла вниз — к кухне, к Берте, к золе и жиру и началу.

За окном занимался рассвет — полный, золотой, заливающий каменные стены замка де Грассов тёплым светом, от которого древние камни казались почти красивыми. Внизу, во дворе, Тибо вёл лошадей, и его голос — чистый, молодой — поднимался к окнам, как песня.

Всё только начиналось.

## Глава 2

Зола и жир

Берта не ожидала, что Элоиза вернётся.

Это было видно по тому, как она вздрогнула — крупно, всем телом, — когда серая фигура снова возникла в дверном проёме кухни. По тому, как метнулся её взгляд — от Лизы к Матильде и обратно, — проверяя, не было ли беды, пока хозяйка отлучалась. По тому, как руки, только что мерно месившие вторую порцию теста, замерли и напряглись, точно кухарка готовилась к удару.

Не к физическому, разумеется. Берту нельзя было ударить — она бы ударила в ответ и не моргнула. Но Элоиза владела другим оружием: криком, скандалом, слезами, жалобами матери, швырянием посуды. Арсенал невелик, но за семнадцать лет, отточенный ежедневной практикой, он стал привычной частью жизни замка, как протекающая крыша или скрип ступеней.

Лиза остановилась у порога. Подождала, пока Берта посмотрит на неё — по-настоящему посмотрит, а не скользнёт привычным раздражённым взглядом.

— Берта, — сказала она, — мне нужна ваша помощь.

Пауза.

Кухарка медленно вытерла руки о передник. Движение было механическим, привычным — но глаза оставались настороженными. Глаза маленькие, глубоко посаженные, цвета дублёной кожи — и умные. Лиза это отметила. В романе Берта была фоном, мебелью, — «кухарка подала обед», «кухарка ворчала» — но сейчас, вживую, вблизи, Лиза видела то, что автор не удосужилась описать: Берта была умна. Тридцать лет управлять кухней нищего поместья, кормить десять ртов из ничего, растягивать мешок проса на месяц, находить применение каждому обрезку, каждой кости, каждому листу крапивы — для этого нужен ум. Практический, жёсткий, лишённый иллюзий — но ум.

— Помощь, — повторила Берта. Слово прозвучало так, будто она пробовала его на вкус и нашла подозрительным.

— Да. Мне нужна зола. Много золы — чистой, древесной, из камина. И жир. Говяжий или бараний, любой, какой есть. Обрезки, объедки — то, что вы обычно выбрасываете.

Берта смотрела на неё. Матильда, стоявшая у стола с новой репой в руках, тоже смотрела — но уже иначе. Не со страхом. С любопытством. Осторожным, как шаг по тонкому льду, — но любопытством.

— Зачем? — спросила Берта.

— Я хочу сварить мыло.

Тишина стала другой. Не напряжённой — озадаченной. Берта моргнула. Потом моргнула ещё раз. Потом нахмурилась — её рыжеватые, тронутые сединой брови сошлись над переносицей, как два столкнувшихся гусеничных полка.

— Мыло, — произнесла она.

— Мыло, — подтвердила Лиза.

— Ты. Элоиза де Грасс. Хочешь сварить мыло.

— Да.

— Ты знаешь, как варят мыло?

— Нет, — честно ответила Лиза. — То есть я знаю рецепт. Но никогда не варила. Поэтому мне нужна ваша помощь. Вы умеете обращаться с огнём, с котлами, с пропорциями. Я знаю, что надо делать. Вы знаете, как это сделать, не спалив кухню.

Берта открыла рот. Закрыла. Посмотрела на Матильду — та пожала плечами, не выпуская репу из рук. Посмотрела обратно на Элоизу.

— Ты нездорова, — заключила Берта. — Лихорадка. Бред.

— Я совершенно здорова.

— Вчера ты стащила с кухни полкаравая и три яблока. Позавчера разбила кувшин и обозвала Матильду... — она покосилась на горничную, — словом, которое я при тебе повторять не стану. А сегодня ты встала на колени и попросила прощения. А теперь хочешь варить мыло.

— Да, — сказала Лиза. — Именно так.

— Почему?

И вот здесь — на этом коротком слове, ёмком, как камень, — Лиза остановилась. Потому что «почему» было вопросом, на который нельзя было ответить правдой. Правда звучала так: «Потому что я — не Элоиза. Потому что я — женщина из другого мира, из далёкого будущего, из страны, которой здесь не существует. Потому что я прочитала книгу, в которой вы все умираете, и решила вас спасти. Потому что мыло — это первый шаг».

Вместо этого Лиза сказала:

— Потому что семья в долгах. Потому что через полгода граф де Монфор потребует восемьсот ливров, а у нас их нет. Потому что нужен доход — любой, из чего угодно, — и мыло можно продавать. Хорошее мыло. Не то серое, зернистое дерьмо, которое привозят из города, а настоящее — белое, плотное, пахнущее лавандой. Такое мыло покупают дворяне. А дворяне платят золотом.

Берта слушала. И по мере того, как Лиза говорила, что-то менялось в её лице — медленно, как тесто, которое начинает подниматься. Не доверие — для доверия было рано. Но и не презрение. Что-то среднее. Что-то похожее на: «Ну-ну, посмотрим».

— Зола у меня хватает, — сказала наконец Берта. — Камин чищу каждое утро. Жир... жира мало. Мы не то поместье, где жир выбрасывают. Но обрезки есть. И старое сало, которое уже воняет, — из него похлёбку не сваришь, только собакам.

— Мне подойдёт.

— Котёл дам малый, с трещиной — в нём всё равно не готовлю. Но если ты испортишь мою кухню, клянусь всеми святыми...

— Я буду варить не в кухне. Во дворе. У колодца. Там есть место для костра — я видела. Берта прищурилась.

— Ты видела. Когда?

Никогда. На сто семнадцатой странице — описание двора замка де Грасс. Автор Е. Ларне перечислила: колодец, конюшня, голубятня, старое кострище у южной стены.

— Вчера, — сказала Лиза. — Я гуляла.

— Ты не гуляешь. Ты сидишь в своей комнате и жалеешь себя.

— Вчера я гуляла.

Берта фыркнула. Но это был не враждебный фырк — скорее тот, которым сильные женщины маскируют растерянность, когда мир ведёт себя не по правилам.

— Матильда, — скомандовала она, не оборачиваясь, — неси золу из камина. Всю. И найди мешок — тот, холщовый, что висит в кладовой. — Потом — Лизе: — Жир будет после обеда. Я срежу с того окорока, что висит в подвале, — он всё равно не для стола. Котёл забей сама — стоит в дальнем углу, за бочками.

— Спасибо, — сказала Лиза.

— Не благодари. Благодарить будешь, когда сваришь своё мыло и не обожжёшься. Щёлок — он едкий, девочка. Разъедает кожу до мяса.

— Я знаю.

— Ты не знаешь. Ты думаешь, что знаешь. Это разные вещи. — Берта вернулась к тесту, с силой ударив его кулаком. — Иди.

Лиза вышла.

За её спиной Берта, не поднимая головы, сказала — негромко, но так, что Матильда услышала:

— Или у неё лихорадка, или с ней случилось чудо. И то и другое — ненадолго.

Матильда, нёсшая мешок с золой, ничего не ответила. Но впервые за два года на её веснушчатом лице не было страха.

---

Двор замка де Грасс в утреннем свете выглядел именно так, как Лиза себе представляла — и всё же иначе. Представлять — одно. Стоять посреди — другое.

Двор был невелик — шагов сорок в длину и тридцать в ширину, — обнесённый каменной стеной высотой в полтора человеческих роста, с единственными воротами, тяжёлыми, дубовыми, обитыми железом, которое давно заржавело. Булыжная мостовая — неровная, в щелях между камнями росла трава, а местами камни провалились, обнажая землю. Колодец — в центре, с потемневшим деревянным срубом и воротом, привязанным верёвкой, у которой не хватало двух прядей. Конюшня — слева, длинная, низкая, с просевшей крышей; из-за двери доносился запах лошадей и сена, и кто-то насвистывал — фальшиво, но бодро.

Тибо.

Лиза подошла к конюшне. Дверь была приоткрыта, и в щель она увидела широкую спину, склонившуюся над лошадиным копытом. Тибо чистил подковы.

— Доброе утро, — сказала она.

Свист оборвался. Тибо обернулся — быстро, всем корпусом, как человек, привыкший к тому, что окликнуть могут и добром, и худом.

Он был ровно таким, каким описала его Е. Ларне на сто сорок первой странице, — и совершенно другим. Рослый, широкоплечий, с открытым загорелым лицом и перебитым носом — следствие драки с деревенскими парнями два года назад. Волосы — соломенные, короткие, торчащие во все стороны. Глаза — карие. Отцовские. Годфруа де Грасс смотрел на мир теми же глазами, только усталыми, а у Тибо они были молодыми, ясными, с той бесхитростной добротой, которая бывает у людей, не знающих своей цены.

Ему было двадцать лет, и он был бастардом барона, и не знал об этом, и Лиза смотрела на него — на отцовские глаза в крестьянском лице — и думала: На четыреста тридцатой странице тебя убьёт на дуэли виконт Гаспар де Ла Круа. Ты попытаешься защитить барона и получишь клинок в сердце. Ты умрёшь, так и не узнав, что защищал отца.

— Госпожа Элоиза? — Тибо выпрямился и неловко поклонился. Поклон был неуклюжим — конюхов не учат кланяться.

Он смотрел на неё без неприязни — но и без теплоты. С вежливым безразличием слуги, которому нечего делить с четвёртой дочерью барона. Элоиза никогда не замечала конюха. Конюх отвечал ей тем же.

— Доброе утро, Тибо, — повторила Лиза. — Мне нужна помощь. Я собираюсь развести костёр во дворе, у южной стены, и мне нужны камни для очага и дрова. Немного — на полдня.

Тибо моргнул. Посмотрел на неё. Посмотрел на её руки — тонкие, в цыпках, явно не приспособленные ни к кострам, ни к камням. Посмотрел обратно на лицо.

— Костёр? — переспросил он.

— Да. Мне нужно кое-что сварить.

— Что сварить?

— Мыло.

Тибо помолчал. Потом — медленно, как будто давая ей время передумать, — сказал:

— Мыло.

— Мыло.

— Вы... простите, госпожа, но вы умеете варить мыло?

— Узнаю сегодня.

Тибо посмотрел на неё ещё раз. И Лиза увидела, как что-то дрогнуло в его лице — не улыбка, нет, но предвестие улыбки, тень её, мимолётная, как солнечный луч сквозь тучу.

— Камни принесу, — сказал он. — И дрова. Кострище — у южной стены, между колодцем и старой голубятней. Там давно не жгли, но место хорошее — ветер тянет в сторону от конюшни, лошади не испугаются.

— Спасибо.

— Не за что, госпожа. — Он помедлил. — Вам помочь с котлом? Берта сказала — тот, что с трещиной?

Лиза посмотрела на него с удивлением.

— Вы уже знаете?

— Матильда пробежала мимо конюшни с мешком золы и сказала, что госпожа Элоиза сошла с ума и собирается варить мыло. — На этот раз тень улыбки стала чуть заметнее. — В замке новости расходятся быстро.

Ещё бы. Двенадцать комнат, десять человек, одна кухня. Деревня, в которой все всё знают — только деревня вертикальная, каменная, с башней.

— Котёл тяжёлый, — сказал Тибо. — Я принесу.

---

К полудню у южной стены замка, между колодцем и полуразрушенной голубятней, где давно не жили голуби, а жили только мыши и один преступно жирный кот по кличке Гастон, — к полудню здесь горел костёр, и над ним висел котёл, и Элоиза де Грасс, четвёртая дочь барона, стояла перед ним с деревянной лопаткой в руке и выражением сосредоточенного ужаса на прыщавом лице.

Рядом стояли: мешок с золой, глиняный горшок с прогорклым салом, ведро колодезной воды и Тибо — на случай, если что-нибудь загорится.

Лиза попросила его остаться. Не потому что боялась огня — а потому что боялась ошибиться, и ей нужен был кто-то, кто мог бы быстро принести ещё воды. Тибо согласился. Он прислонился к стене, скрестив руки на груди, и наблюдал — с тем выражением спокойного любопытства, с которым наблюдают за безумцами, когда безумие безопасно.

Итак. Мыло.

Лиза знала рецепт — теоретически. Она прочла его не в романе (Е. Ларне не снизошла до таких деталей), а в научно-популярной книге «Повседневная жизнь средневековой Европы», которая стояла на полке в библиотеке и которую Лиза прочла дважды — первый раз из интереса, второй из скуки. Глава о гигиене. Подраздел «Мыловарение». Рецепт был прост — как все рецепты, от которых зависит жизнь.

Шаг первый: щёлок. Залить золу водой, дать настояться, процедить. Полученная жидкость — щелочной раствор, едкий, опасный для кожи и глаз, — основа мыла.

Шаг второй: жир. Растопить, очистить от примесей, процедить через ткань.

Шаг третий: соединить щёлок и жир. Варить на медленном огне, помешивая, долго — часами, — пока смесь не загустеет, не превратится в пасту. Разлить в формы. Дать застыть. Ждать — неделю, две, месяц, чем дольше, тем лучше.

Просто.

В теории — просто.

На практике — Лиза стояла перед костром, над которым висел котёл с золой и водой, и понимала, что между «знать рецепт» и «сварить мыло» — та же пропасть, что между «знать, как плавать» и «не утонуть».

Пропорции. Какие пропорции?

Книга «Повседневная жизнь средневековой Европы» была щедра на общие описания и скупа на конкретику. «Золу заливали водой в определённых пропорциях» — каких? «Варили на медленном огне» — насколько медленном? «Добавляли жир» — сколько?

Ладно. Методом тыка. Научный метод, в конце концов, начинается с эксперимента.

Она засыпала золу в котёл — примерно треть мешка. Залила водой — два ведра. Размешала лопаткой. Серая, мутная жижа забулрилась и зашипела, когда огонь лизнул дно котла.

— Это будет мыло? — спросил Тибо.

— Пока — щёлок, — ответила Лиза. — Зольный раствор. Его нужно варить, потом процедить, потом смешать с жиром. Потом — опять варить. Долго.

— Как долго?

— Несколько часов.

Тибо посмотрел на котёл. Потом — на Лизу. Потом — снова на котёл.

— Хм, — сказал он.

Это «хм» было многозначным. В нём были и скептицизм, и интерес, и — Лиза это почувствовала — уважение к тому факту, что эта странная, прыщавая, нелепая девушка, которую вчера никто не принимал всерьёз, стоит на жаре, перед дымящимся котлом, в сером платье, забрызганном золой, и делает — что-то. Делает, а не жалуется. Это было ново. Это было достаточно ново, чтобы Тибо не ушёл.

---

Первый час прошёл в молчании. Лиза мешала, Тибо стоял. Костёр потрескивал. Жижа в котле булькала — лениво, неохотно, источая запах, который нельзя было назвать приятным: горелая древесина, мокрый пепел, что-то химическое, щиплющее нос и глаза.

На втором часу пришла Матильда. Она принесла кружку воды и кусок хлеба — для Элоизы. Просто принесла и поставила рядом, на камень. Ничего не сказала. Посмотрела на котёл, сморщила веснушчатый нос от запаха — и ушла.

Лиза взяла кружку, выпила воду — жадно, в три глотка, — и подумала: Это третий камень. Матильда принесла мне воду. Не потому что я приказала. Потому что я попросила прощения.

Доброта — валюта, которая не обесценивается.

На третьем часу пришёл кот Гастон. Он вышел из голубятни, потянулся — долго, обстоятельно, демонстрируя каждую мышцу своего роскошного рыже-белого тела, — и уселся рядом с костром, глядя на котёл с профессиональным интересом повара, оценивающего чужую стряпню. Гастон был огромен — фунтов двенадцать, не меньше, — и наглостью выражения превосходил даже Берту.

— Тебе мыло не понравится, — сказала ему Лиза.

Гастон зевнул, показав безупречные клыки, и начал умываться.

На четвёртом часу Лиза процедила щёлок.

Она сделала это так: достала из кухни (с разрешения Берты, которая уже наблюдала за происходящим через окно с выражением мрачного любопытства) старое полотенце, натянула его на горшок и перелила варево через ткань. Горячая жидкость обожгла пальцы — она зашипела, отдёрнула руку, и Тибо, мгновенно оказавшийся рядом, сунул её руку в ведро с холодной водой.

— Осторожнее, — сказал он. — Берта предупреждала.

— Берта всегда права, — ответила Лиза сквозь зубы. Пальцы горели.

Щёлок — процеженный — был прозрачно-жёлтым, маслянистым на вид, с резким запахом. Лиза капнула его на обрезок кожи, оставленный у колодца, — кожа зашипела и побурела.

Работает. Щелочной раствор. Едкий. Годится.

Теперь — жир.

Берта выдала обещанное: кусок прогорклого сала, желтоватого, с неприятным запахом. Лиза положила его в отдельный горшок, поставила на угли — не на огонь, а на угли, тихо, медленно. Сало начало плавиться, стекая густыми каплями, и запах стал хуже — тяжёлый, прогорклый, сладковатый.

— Пахнет как в аду, — заметил Тибо.

— Ты бывал в аду?

— Нет, но пастор описывал. Примерно так, полагаю.

Лиза фыркнула — и только потом осознала, что фыркнула. Что засмеялась. Что это тело — тело Элоизы, которое не помнило, когда в последний раз смеялось, — издало звук, похожий на смех.

Странно. Приятно. И странно.

Жир процедила тоже через ткань. Отжала. Горячая, прозрачная, золотистая жидкость — и пахла она уже не так ужасно, потому что процеживание убрало худшие примеси.

Теперь — главное. Соединение.

Лиза перелила щёлок обратно в котёл. Поставила на медленный огонь. Дождалась, пока начнёт парить — не кипеть, а парить, мелкими ленивыми пузырьками по краям. И начала, по капле, по тонкой струйке, вливать жир, помешивая лопаткой.

Ничего не произошло.

Жир плавал на поверхности маслянистыми разводами. Щёлок булькал. Лиза мешала. Ничего.

Мешать. Продолжать мешать. В книге написано — долго, часами. Реакция омыления — щёлочь разрушает молекулы жира, связывает, перестраивает. Это не мгновенно. Это — терпение.

Она мешала.

Руки устали через двадцать минут. Болели через сорок. Через час — немели. Лопатка была тяжёлой, жидкость — густой, упрямой, не желавшей подчиняться. Лиза перехватывала лопатку то правой, то левой рукой, и обе горели, и спина ныла, и от дыма слезились глаза, и пот — солёный, едкий на воспалённой коже — стекал по лбу и щекам.

Тибо, молча наблюдавший всё это время, через час подошёл.

— Дайте мне, — сказал он и протянул руку к лопатке.

Лиза посмотрела на него. Хотела отказаться. Гордость — или упрямство, или та самая московская Лизина закалка, которая говорила: «Сама, всё сама, никто не поможет, не жди» — хотела сказать «нет».

Но тело сказала «да». Тело было умнее гордости.

— Спасибо, — выдохнула она и отдала лопатку.

Тибо мешал. Его руки — широкие, сильные, привыкшие к тяжёлой работе — двигали лопатку легко, как ложку в каше. Лиза села на камень рядом, вытянув дрожащие руки, и смотрела, как конюх, который только что чистил копыта, помешивает содержимое котла с терпением и аккуратностью, которых она не ожидала.

— Густеет, — сказал он через полчаса.

Лиза вскочила. Подбежала к котлу. Посмотрела.

Густело.

Жидкость, ещё час назад разделённая на два враждующих слоя — водянистый щёлок и маслянистый жир, — теперь была единой. Однородной. Мутно-белой, с кремовым оттенком. Густой — не как вода, а как жидкое тесто. И запах изменился: исчезла прогорклость, исчезла едкость, осталось что-то... чистое. Не приятное — ещё нет, — но чистое.

Омыление. Оно работает. Оно, чёрт возьми, работает.

— Мешай ещё, — сказала Лиза, и голос у неё дрожал — не от усталости, а от чего-то другого, чему она не сразу нашла имя. — Мешай, пока не станет как густая каша. Потом снимаем.

Тибо кивнул и мешал.

---

К вечеру — к тому мягкому, золотому, позднему вечеру, когда тени удлиняются и воздух пахнет остывающим камнем, — у южной стены замка де Грасс, на плоском камне, накрытом

тряпкой, стояли четыре деревянные формы. В формах застывала белая паста — ещё мягкая, ещё влажная, пахнувшая зольным щёлоком и салом, некрасивая и неровная.

Мыло.

Первое мыло Элоизы де Грасс.

Лиза стояла над ним и смотрела, и руки — обожжённые, красные, дрожащие — висели вдоль тела, и она не чувствовала ни боли, ни усталости. Она чувствовала — что? Гордость? Слишком громкое слово. Облегчение? Ближе. Но точнее всего было вот что: она чувствовала, что впервые за долгое время — может быть, впервые за обе свои жизни — она сделала что-то осязаемое. Что-то, что можно потрогать, понюхать, взвесить на ладони.

Не прочитала. Не помечтала. Сделала.

— Оно должно сохнуть, — сказала она — вслух, но скорее себе, чем Тибо, который стоял рядом и тоже смотрел на формы. — Неделью. Лучше — две. Чем дольше сохнет, тем твёрже. Потом можно резать на куски.

— И продавать? — спросил Тибо.

— Пока нет. Это — пробная партия. Первый блин. Но когда мы найдём правильные пропорции, когда научимся добавлять лаванду, розмарин, мёд — тогда да. Тогда продавать.

Тибо помолчал.

— Вы другая, — сказал он.

Лиза посмотрела на него.

— Что?

— Вы — другая. Не такая, как вчера. Не такая, как всегда. Я... — он замялся, подбирая слова, как человек, не привыкший формулировать мысли вслух. — Я не знаю, что случилось. Но вы другая.

— Я проснулась, — сказала Лиза — то же, что сказала отцу. И это по-прежнему было правдой.

Тибо кивнул. Не стал расспрашивать. В этом — Лиза поняла — была его сила: он принимал. Не требовал объяснений. Не копал глубже. Принимал — как принимают смену погоды или рождение жеребёнка. Случилось — и случилось.

Хороший человек. Простой и хороший. На четыреста тридцатой странице ты умрёшь, защищая отца, которого не знаешь.

Не в этот раз.

— Тибо, — сказала Лиза.

— Да, госпожа?

— Спасибо. За сегодня. За камни, за дрова, за то, что мешал. За то, что остался.

Он пожал плечами — широко, по-крестьянски.

— Не за что, госпожа. Был свободный день. И, — он помедлил, — мне было интересно.

---

Ночь опустилась на замок де Грасс — тихая, безлунная, пахнувшая дымом от потухшего костра и чем-то ещё, чем-то тонким, свежим, — ромашкой, которую Лиза успела нарвать у ручья за южной стеной перед закатом. Букет стоял теперь в кружке на её столе — белые головки на тонких стеблях, простые, как всё настоящее.

Лиза лежала на соломенном тюфяке — не раздеваясь, слишком уставшая, чтобы стянуть платье, — и смотрела в темноту, и думала.

Итог дня.

Матильда — не простила, но перестала бояться. Это — больше, чем прощение. Прощение можно подделать. Отсутствие страха — нельзя.

Берта — озадачена. Наблюдает. Пока — нейтральна. Берта — крепость. Крепости не берут за один день. Но я заронила сомнение, а сомнение — это трещина в стене.

Тибо — на моей стороне. Не из преданности — ещё рано. Из любопытства. Любопытство — начало преданности.

Отец — слышал. Проверит. Когда проверит — поверит. Когда поверит — откроет дверь.

Мыло — сохнет. Через неделю — первый кусок. Через две — первая партия. Через месяц — первая продажа.

Осталось: сёстры. Клеманс. Аделаида. Беатриса. Селеста. Четыре стены, четыре замка, четыре ключа — и каждый ключ я знаю, потому что прочла о них всё.

Осталось: Жервэ. Когда отец убедится, что я права, управляющего выгонят. Он уедет. Его сын — Жервэ-младший — затаит злобу. Но это проблема завтрашнего дня.

Осталось: граф де Монфор. Долг. Восемьсот ливров. Шесть месяцев.

Осталось: письмо. Кардинал. Девять месяцев.

Осталось: инквизитор. Селеста. Десять месяцев.

Осталось: виконт Гаспар. Тибо. Дуэль. Одиннадцать месяцев.

Осталось: всё.

Она закрыла глаза.

Но сегодня — сегодня я сварила мыло. Первое мыло. Кривое, некрасивое, пахнущее прогорклым салом.

Первый кирпич.

За стеной — через камень, через тишину ночного замка — послышался звук. Тихий, едва различимый. Скрип пера по бумаге.

Клеманс не спала.

Клеманс писала в свой дневник.

Лиза улыбнулась в темноту и уснула.

---

Она проснулась от звука, которого не ожидала.

Стук в дверь.

Не грубый — осторожный, робкий, костяшками пальцев по дереву. Тук-тук-тук. Пауза. Тук-тук.

Лиза открыла глаза. Серый свет. Раннее утро. Тело болело — всё, от шеи до пяток: мышцы, которых Элоиза никогда не использовала, мстили за вчерашний день. Руки — обожжённые щёлоком — горели.

— Да? — сказала она хрипло.

Дверь приоткрылась.

В щели появилось лицо — узкое, бледное, с острым подбородком и пронзительными глазами. Мышиные волосы, заплетённые в тугую косу. Тонкие, сжатые губы.

Клеманс.

Третья сестра. Девятнадцать лет. Невзрачная, тихая, незаметная. Та, что замечала всё и говорила мало. Та, что вела дневник.

Клеманс стояла в дверях и смотрела на Элоизу — и в её глазах было то, что Лиза узнала мгновенно, потому что видела это в зеркале каждый день своей прошлой жизни.

Голод.

Не физический. Голод по тому, чтобы тебя увидели.

— Можно? — спросила Клеманс.

— Входи, — сказала Лиза.

Клеманс вошла. Закрыла дверь за собой — аккуратно, беззвучно, как привыкла делать всё. Встала у стены. Руки — перед собой, одна на другой, пальцы переплетены. Защитная поза. Поза человека, который готов уйти в любой момент.

Лиза села на кровати. Босые ноги на холодном камне. Она не пыталась встать, не пыталась казаться больше, значительнее — просто сидела, маленькая и растрёпанная, с красными руками и ромашкой в кружке на столе, и ждала.

Клеманс молчала.

Лиза молчала.

Минута.

Потом Клеманс сказала:

— Я слышала, как ты говорила с отцом. Вчера утром. О Жервэ.

— Я знаю, — ответила Лиза.

Клеманс моргнула.

— Знаешь?

— Ты подслушивала у двери. Я слышала шаги.

Пауза. Клеманс сглотнула. На её бледных щеках проступил румянец — слабый, едва заметный, как свет сквозь пергамент.

— Ты говорила правду? — спросила она. — О Жервэ?

— Да.

— Откуда ты знаешь?

— Я наблюдала. Как и ты.

Клеманс вздрогнула. Чуть заметно — но Лиза это увидела.

— Я... не понимаю, о чём ты, — сказала Клеманс, и голос её стал ровнее — стена, за которой она привыкла прятаться.

Лиза посмотрела на неё. Долго. Спокойно. Без вызова и без жалости — с тем простым вниманием, которое люди вроде Клеманс ценят дороже всего, потому что получают реже всего.

— Клеманс, — сказала она, — ты ведёшь дневник.

Тишина.

— Не краснеющий девичий дневничок с сердечками на полях, — продолжала Лиза. — Досье. Наблюдения. Кто что сказал. Кто куда пошёл. Кто врёт. Кто ворует. Кто с кем спит. Ты записываешь всё — систематически, подробно, с датами. Ты делаешь это уже... два года? Три?

Клеманс стояла у стены, и лицо её было белым.

— Четыре, — прошептала она.

Лиза кивнула.

— Четыре года ты наблюдаешь за всеми, и никто не замечает, что ты наблюдаешь, потому что никто не замечает тебя. Ты невидимка, Клеманс. Как и я. Как и я — до вчерашнего дня.

Клеманс смотрела на неё. И в её глазах — пронзительных, умных, голодных глазах — что-то менялось. Стена, которую она строила девятнадцать лет, — стена из тишины, из незаметности, из «я просто тень, не обращайтесь внимания» — эта стена дрогнула.

— Откуда ты знаешь? — повторила Клеманс. И на этот раз в её голосе не было защиты. Был страх. И — надежда.

Лиза протянула руку. Красную, обожжённую, в цыпках.

— Сядь, — сказала она. — Пожалуйста. Мне нужно кое-что тебе рассказать. И кое о чём попросить.

Клеманс не села. Она стояла у стены — ещё секунду, ещё две, — и Лиза видела, как борются в ней осторожность и голод, многолетняя привычка прятаться и отчаянное, детское желание быть увиденной.

Потом Клеманс сделала шаг вперёд.

И села на край кровати.

---

Они проговорили час.

Лиза не сказала ей правду — всю правду, о книге, о перерождении, о Москве и Муське. Она сказала другое. Она сказала: «Мне нужна помощь. Не чья-нибудь — твоя. Потому что ты — единственный человек в этом замке, который видит то, что другие не замечают».

Она сказала: «Семья в опасности. Не только из-за долгов. Есть люди, которые хотят нас уничтожить. Я... знаю об этом. Я не могу объяснить, откуда знаю, — пока. Может быть, когда-нибудь объясню. Но сейчас мне нужно, чтобы ты мне поверила».

Она сказала: «Ты ведёшь дневник. Это — наше оружие. Информация — единственное оружие, которое есть у людей без денег, без армии, без связей. Ты четыре года собирала информацию. Ты сама не знаешь, что ты насобираала».

Она сказала: «Я знаю, что Аделаида переписывается с купцом Жаком Мерсье. Это есть в твоём дневнике?»

Клеманс побледнела ещё сильнее.

— Да, — прошептала она.

— Что ещё там есть?

И Клеманс — тихая, невидимая Клеманс, которую не замечали даже родители, — начала говорить. Сначала осторожно, обрывками, проверяя реакцию. Потом — быстрее, увереннее, как река, которой убрали запруды.

В её дневнике было всё.

Что Жервэ встречается с посланцем графа де Монфора каждую среду, у мельницы. Что баронесса Маргарита хранит под половицей в спальне письма от подруги из столицы — Луизы де Шатонёф. Что Беатриса рисует по ночам — углём, на обрезках пергамента — и прячет рисунки в щели между камнями в стене. Что Селеста иногда просыпается с криком посреди ночи и зажимает уши руками, хотя в замке тихо.

Что конюх Тибо похож на барона. Очень похож. Клеманс это заметила давно.

— Ты знала? — спросила Лиза.

— Я подозревала.

— Четыре года подозревала — и никому не сказала?

— Кому говорить? Кто бы мне поверил? Кто бы вообще меня выслушал?

Голос Клеманс не дрогнул. Он был ровным — ровным, как озеро, под которым двадцать саженей чёрной воды.

Лиза взяла её за руку. Клеманс вздрогнула — прикосновение было непривычным, — но не отдернула.

— Я слушаю, — сказала Лиза. — Теперь — я слушаю. И буду слушать. Всегда.

Клеманс сжала её пальцы. Крепко. Так крепко, что обожжённая кожа вспыхнула болью — но Лиза не отняла руку.

— Что ты хочешь от меня? — спросила Клеманс.

— Будь моими глазами. Будь моими ушами. Записывай всё. Но теперь — не для себя. Для нас. Для семьи.

— Для семьи, — повторила Клеманс, и слово прозвучало так, будто она пробовала его на вкус впервые.

— Для семьи, — подтвердила Лиза.

---

Когда Клеманс ушла — бесшумно, как пришла, как тень, которой привыкла быть, — Лиза осталась одна.

Она подошла к окну, отворила ставню. Утренний свет хлынул в комнату — яркий, холодный, пахнувший росой и дымом. Внизу, во дворе, у южной стены, на плоском камне стояли четыре деревянные формы, накрытые тряпкой.

Мыло сохло.

Лиза посмотрела на свои руки — красные, обожжённые, со вздувшимися белыми пузырями на пальцах, — и сжала их в кулаки.

Три камня. Матильда. Отец. Клеманс.

Фундамент.

Мыло сохнет. Информация — собирается. Жервэ — доживает последние дни в этом замке.

А я — я только начала.

За стеной слышались голоса — Аделаида и Беатриса, проснувшись, спускались к завтраку. Голос Аделаиды — резкий, командный — отдавал распоряжения. Голос Беатрисы — мягкий, сонный — отвечал невпопад. Где-то ниже Берта гремела котлами. Тибо свистел в конюшне. Матильда — тихие шаги, быстрые, привычные — несла воду.

Замок жил.

Лиза закрыла ставню, оделась, заплела косу.

И пошла вниз — в этот день, и в следующий, и в каждый из тех двухсот семидесяти дней, что отделяли её от страницы триста сорок восьмой.

## Глава 3

Двойные книги

Прошло шесть дней.

Шесть дней — и замок де Грасс, не изменившись ни единым камнем, стал другим. Не внешне — внешне всё оставалось прежним: те же облупленные стены, тот же ржавый ворот колодца, тот же кот Гастон, дремлющий на подоконнике кухни с видом помещика, обзирающего свои владения. Изменился воздух. Изменился ритм. Изменилось то неуловимое, что делает дом живым или мёртвым, — то, что французы, если бы их спросили, назвали бы словом «дух», а Лиза, если бы её спросили, назвала бы словом «движение».

Замок двигался.

У южной стены каждое утро горел костёр — маленький, аккуратный, обложенный камнями. Над ним висел котёл с трещиной, и Элоиза де Грасс, четвёртая дочь барона, помещивала в нём очередную порцию щёлока, и пот стекал по её лицу, и руки, обмотанные тряпками — после первых ожогов Берта молча выдала ей полотняные обрезки для защиты, — двигали лопатку мерно, привычно, без вчерашней дрожи.

На камне у голубятни сохли формы. Первая партия — четыре бруска — была уже почти готова: белая, плотная масса затвердела, подсохла, утратила запах прогорклого сала. Нет — не утратила, но запах изменился, стал глуше, тише, перекрытый чем-то другим: Лиза добавила в последний замес горсть сушёной ромашки, растёртой в порошок, и мыло пахло теперь не то чтобы ромашкой — но уже и не салом. Чем-то средним. Чем-то, что обещало.

Вторая партия варилась сейчас — и Лиза уже знала пропорции. Не идеальные — до идеала было далеко, — но рабочие. Три меры золы на пять мер воды. Одна мера жира на две меры щёлока. Помешивать — не менее двух часов, лучше три. Огонь — слабый, ровный, без языков пламени, только угли. Она записала всё это углём на обрезке пергамента, который ей — молча, без единого слова — подсунула под дверь Клеманс.

Клеманс.

Третья сестра не приходила больше. Не разговаривала с Лизой на людях. Не подавала виду, что между ними что-то изменилось. За общим столом — скудным, тихим, как все обеды в доме де Грасс, — Клеманс сидела на своём обычном месте, ела свою обычную кашу, смотрела в тарелку. Невидимка. Тень.

Но каждое утро под дверью Лизы лежал свёрнутый листок.

На первом было написано: «Жервэ ездил к мельнице в среду. Вернулся через два часа. Через час после него приехала телега — пустая. Уехала гружёная. Два мешка, рогожа сверху — не видно, что внутри. Направление — Монфор».

На втором: «Мать плакала ночью. Отец ходил по кабинету до третьих петухов. Утром — красные глаза у обоих. Не разговаривают».

На третьем: «Аделаида получила письмо. Гонец из города — мальчишка, лет двенадцати, в сером плаще. Аделаида забрала письмо и ушла к себе. Через час — вышла. Глаза красные. Письмо спрятала — не в сундук, а в щель за гобеленом в коридоре. Я проверила после: щель неглубокая, письмо торчит. Не стала трогать».

На четвёртом: «Селеста опять кричала во сне. Третью ночь подряд. Утром — бледная, руки дрожат. Матери сказала, что просто сон. Врёт. Я вижу».

На пятом: «Беатриса рисовала всю ночь. Через стену слышно, как скрипит уголь по пергаменту. Утром — тёмные круги под глазами. Спрятала рисунки в обычное место — щель в кладке, третий камень от окна, второй ряд снизу. Я знаю, потому что видела. Она не знает, что я знаю».

На шестом — сегодняшнем — было одно слово: «Отец».

Лиза прочла его, стоя у окна, в сером утреннем свете, — и сердце забилося быстрее. Отец.

Годфруа де Грасс не выходил из кабинета шесть дней. Он спускался к обеду — молча, с каменным лицом, — ел, не поднимая глаз, и возвращался. Жена смотрела на него с тревогой. Аделаида — с раздражением. Беатриса — мимо, она вообще ничего не замечала, кроме своих рисунков и своих мечтаний. Селеста — со страхом, тем тихим, привычным страхом ребёнка, который чувствует, что взрослые что-то скрывают.

Лиза знала, чем он занят.

Он считал телеги.

Шесть дней — шесть дней барон Годфруа де Грасс, разбитый, сломленный, давно махнувший на всё рукой, вставал до рассвета, поднимался на стену замка и смотрел вниз, на дорогу, ведущую от амбаров к тракту. И считал. Телеги, мешки, бочки. Записывал — своим неровным, дрожащим почерком — в тетрадь, которую прятал под камзолом. Потом спускался, шёл в кабинет и сравнивал свои записи с книгами Жервэ.

Лиза не спрашивала его. Не напоминала. Не торопила. Она знала — из романа, из жизни, из опыта, — что мужчины вроде Годфруа не терпят давления. Им нужно прийти к правде самим. Им нужно увидеть — своими глазами, своими руками пересчитать, своей головой осознать, — и только тогда они поверят.

И вот — шестое утро. Записка Клеманс. Одно слово.

Он готов.

---

Стук в дверь кабинета.

— Войди, — голос из-за двери. Не усталый — другой. Не тот, что шесть дней назад. В этом голосе была натянутая струна — звенящая, тонкая, готовая лопнуть.

Лиза вошла.

Годфруа де Грасс сидел за столом. Не стоял — сидел, и это уже было необычно: все шесть дней он мерил кабинет шагами, а теперь — сидел, тяжело, грузно, как человек, который получил удар и пытается устоять. Перед ним лежали два документа. Слева — книга счетов Жервэ, раскрытая на последних страницах, с ровными, аккуратными столбцами цифр, выведенных каллиграфическим почерком управляющего. Справа — тетрадь барона: мятая, заляпанная воском, с цифрами, написанными вкось и вкривь, перечёркнутыми, исправленными — но несомненными.

Годфруа поднял глаза.

— Семнадцать телег, — сказал он.

Лиза стояла у двери. Молчала.

— Семнадцать телег за шесть дней. В книгах Жервэ — девять. Девять телег, тридцать два мешка зерна, четыре бочки масла. В действительности — семнадцать телег, не менее шестидесяти мешков и бочек я не считал, потому что они были укрыты рогожей, но Тибо... — голос барона дрогнул, — Тибо проследил за одной из телег. Она поехала не на рынок. Она поехала к Монфору.

Лиза молчала.

— Треть доходов, — продолжал Годфруа. — Ты была права. Треть. За шесть дней — семнадцать телег вместо девяти. Если экстраполировать... — он запнулся на этом слове, чужом, учёном, которое, видимо, вычитал в одном из немногих оставшихся в замке книг, — если предположить, что такой разрыв сохраняется круглый год, то Жервэ украл у меня...

Он замолчал. Побелевшие пальцы сжали край стола.

— Не менее трёхсот ливров в год, — тихо закончила Лиза. — За десять лет — три тысячи. Больше, чем долг графу де Монфору. Втрое больше.

Годфруа посмотрел на неё. И Лиза увидела в его глазах — в этих карих, усталых, отцовских глазах — то, что бывает, когда человек, долго считавший себя неудачником, вдруг понимает, что он не неудачник. Что он — жертва. Что его обворовывали, обманывали, использовали — годами, методично, хладнокровно. И что его бедность, его долги, его стыд, его бессонные ночи, его неспособность прокормить семью — всё это было не его виной.

Ярость.

Не горячая — холодная. Та, что страшнее крика. Та, что сжимает зубы и белит костяшки пальцев. Та, что копится годами и, когда прорывается, сносит плотины.

— Я хочу, — сказал Годфруа, и каждое слово падало, как камень в колодец, — я хочу, чтобы его привели ко мне. Сейчас.

— Отец, — сказала Лиза.

— Сейчас.

— Отец, подождите.

Годфруа посмотрел на неё — и во взгляде его была такая сила, что Лиза, несмотря на всё своё знание, на все восемьсот двенадцать страниц, на все двадцать четыре года Лизы Вороновой — Лиза отступила на шаг.

Но не замолчала.

— Если вы позовёте его сейчас, — сказала она, — он всё отрицать будет. Ваше слово против его. Его книги — аккуратные, подробные, с печатями и подписями. Ваши записи — мягкая тетрадь, шесть дней наблюдений. Он скажет, что вы ошиблись. Что телеги возили не зерно, а сено для скота. Что Тибо — конюх, что он знает о лошадях, а не о бухгалтерии. И Жервэ уедет — не пойманный, не наказанный. Уедет к Монфору. И расскажет ему всё, что знает о наших делах.

Годфруа молчал. Пальцы на столе медленно — очень медленно — разжались.

— Что ты предлагаешь? — спросил он.

Вот оно.

— Сундук, — сказала Лиза. — В комнате Жервэ. Его настоящие книги. Ключ — на шее, под рубашкой. Если мы получим эти книги, у нас будет не шесть дней наблюдений — а десять лет доказательств. Его собственным почерком. С его собственными цифрами. И тогда — вам не нужно будет его обвинять. Книги обвинят его сами.

Годфруа смотрел на неё.

— И как ты предлагаешь... получить эти книги?

Лиза улыбнулась. Впервые — при отце. Улыбка была тонкой, быстрой, непривычной на этом лице — но настоящей.

— Я предлагаю, — сказала она, — подождать до среды.

---

Среда была днём, когда Жервэ ездил к мельнице.

Лиза знала это из романа. Клеманс подтвердила — в дневнике, в записках, в четырёх годах наблюдений. Каждую среду, после обеда, управляющий Жервэ седлал свою кобылу — серую, старую, с провисшей спиной, — и ехал к мельнице на реке, в полудне езды от замка. Официально — проверять помол. В действительности — встречаться с посланником графа де Монфора, передавать отчёты, получать указания.

Он уезжал на два-три часа. Всегда.

— В среду, когда он уедет, — сказала Лиза отцу, — мы войдём в его комнату. Вы, я и Тибо — как свидетель. Откроем сундук. Если ключ увезёт с собой — а он его не снимает, — придётся вскрывать. У Тибо есть инструменты.

— Вскрывать сундук своего управляющего, — произнёс Годфруа. Не как вопрос — как утверждение, которое он пробовал на вкус.

— Вскрывать сундук человека, который десять лет обворовывал вашу семью, — поправила Лиза. — Это не воровство, отец. Это — правосудие.

Барон помолчал.

— Откуда ты знаешь, что настоящие книги — в сундуке?

Со страницы четыреста двадцатой. Где их нашли после ареста Жервэ — слишком поздно, когда семья была уже в тюрьме, а поместье — конфисковано.

— Я видела, как он запирает сундук каждый вечер, — сказала Лиза. — И как проверяет замок каждое утро. Так не запирают сундук, в котором лежат рубашки.

Годфруа провёл рукой по бороде — жест, который Лиза уже начинала узнавать: он думал.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Среда.

---

Среда пришла — серая, облачная, с низким небом, давившим на замок, как крышка на горшок.

Лиза провела утро у костра — варила третью партию мыла. Руки уже не дрожали. Движения стали уверенными, точными, экономными: зола — в котёл, вода — мерной кружкой, огонь — поддерживать углями, не давать разгореться. Она научилась определять готовность щёлока на ощупь: капля на тыльную сторону ладони — если скользит, как мыльная вода, значит, достаточно крепкий. Научилась процеживать одним движением, не расплёскивая. Научилась вливать жир тонкой струйкой, не прерывая помешивание.

Берта, выглянув из кухонного окна, проследила за её движениями — и молча кивнула. Это было больше, чем похвала. Это было признание.

Первая партия мыла — четыре бруска — уже затвердела. Лиза вынула их из форм утром, и они лежали теперь на тряпке, белые, плотные, с чуть шероховатой поверхностью. Она взяла один в руки — тяжёлый, прохладный, пахнувший ромашкой и чем-то чистым, щёлочным, — и провела большим пальцем по поверхности. Гладко. Не идеально — были вкрапления, пузырьки, неровности, — но для первого раза — гладко.

Она намочила его и потёрла руки.

Пена.

Белая, густая, настоящая пена — мыльная, скользкая, пахнувшая ромашкой. Лиза смотрела на свои руки — красные, обожжённые, в пузырях и цыпках, — и видела, как пена скользит по ним, смывая грязь, сажу, пот. Как кожа под пеной становится — не чистой, нет, до чистой кожи было ещё далеко, — но другой. Ощутимо другой.

Она смыла пену колодезной водой. Вытерла руки.

И поняла, что плачет.

Тихо, беззвучно, как плачут люди, которые давно разучились плакать на людях. Слёзы катились по щекам, обжигая воспалённую кожу, и она не вытирала их, потому что руки были мокрыми, и потому что — зачем. Никто не видел. Гастон дремал на подоконнике. Тибо был в конюшне. Берта — на кухне.

Мыло. Я сварила мыло. Настоящее мыло, которое пенится, которое пахнет, которое можно взять в руки.

Я — Лиза Воронова, библиотекарь из Бирюлёва, тридцать тысяч в месяц, однушка в панельке, кошка Муська — я сварила мыло. В средневековом замке. Из золы и прогорклого сала. Своими руками.

И это — только начало.

Она вытерла лицо рукавом. Убрала мыло. Накрыла формы тряпкой.

И пошла ждать среду.

---

Жервэ уехал в половине второго.

Лиза видела его из окна кабинета — отец впустил её утром, и они сидели вместе, молча, как заговорщики, — видела, как управляющий вышел из своей комнаты на первом этаже (комната была лучшей из нежилых — Жервэ выбрал её сам, и никто не возразил), как пересёк двор, как зашёл в конюшню. Через пять минут — верхом, на серой кобыле, в дорожном плаще — он выехал из ворот.

Лиза проводила его взглядом.

Жервэ был ровно таким, каким описала его Е. Ларне: сухопарый, с лисьим лицом — острый нос, узкий подбородок, глаза, которые никогда не смотрели прямо. Руки — длинные, с тонкими пальцами, — вечно потеющие; он вытирал их о штаны каждые несколько минут, и на ткани остались тёмные пятна. Одевался он лучше барона — и это, пожалуй, было самым красноречивым доказательством, убедительнее любых цифр. Управляющий нищего поместья, чья одежда стоит дороже, чем гардероб хозяина.

Когда стук копыт затих на дороге, Лиза повернулась к отцу.

— Пора.

---

Комната Жервэ располагалась на первом этаже, в конце коридора, за кухней. Дверь — дубовая, с хорошим замком — была заперта. Жервэ всегда запирал дверь, уезжая.

Тибо стоял рядом, и в руках у него был ломик — короткий, железный, из кузницы. Он молчал. Его лицо — открытое, честное лицо, которое не умело прятать эмоции, — было напряжённым.

— Тибо, — сказал барон, — открой.

Конюх посмотрел на хозяина. Потом — на Элоизу. Потом — снова на хозяина.

— Открой, — повторил Годфруа.

Тибо вставил ломик в щель между дверью и косяком. Надавил. Дерево закрипело — протяжно, жалобно, — и замок сдался. Щелчок. Дверь распахнулась.

Комната управляющего была — Лиза ожидала этого, но всё равно сжала кулаки — роскошной. По меркам замка де Грасс — неприлично роскошной. Кровать — широкая, с пуховым матрасом, с настоящими простынями, не холщовыми — льняными. Стол — полированный, с бронзовыми подсвечниками — настоящими, бронзовыми, а не оловянными, как у барона. Ковёр на полу — потёртый, но шерстяной, тёплый. На стене — зеркало. Маленькое, мутное, в деревянной раме, — но зеркало. У Элоизы зеркала не было. У Беатрисы — тоже. У баронессы Маргариты — было, но треснувшее.

У управляющего — целое.

Годфруа стоял на пороге и смотрел на комнату своего управляющего. На кровать, на которой не спал ни один член его семьи. На подсвечники, которые стоили больше, чем обед его дочерей. На ковёр, по которому ходили ноги человека, десять лет воровавшего у него хлеб.

— Сундук, — сказал барон.

Сундук стоял у стены, под окном. Крепкий, дубовый, окованный железом, с замком — хорошим, кузнечной работы, не чета тому хлипкому запору, что стоял на двери. Жервэ берёт свои секреты лучше, чем свой дом.

Тибо подошёл к сундуку. Присел на корточки. Осмотрел замок. Потрогал — пальцы скользнули по железу, ощупывая.

— Крепкий, — сказал он. — Ломиком не возьму — замок кованый, дужка толстая. Нужно либо высверлить, либо...

— Либо? — спросил Годфруа.

Тибо полез в карман и достал — Лиза не сразу поняла, что это, — связку тонких железных прутков, изогнутых на концах. Отмычки.

Барон посмотрел на конюха.

Тибо пожал плечами — широко, по-крестьянски.

— В деревне научился, — сказал он, и в голосе его не было ни стыда, ни бравადы.

Он опустился на колени перед сундуком, вставил два прутка в замочную скважину и начал работать — медленно, сосредоточенно, с закрытыми глазами, слушая металл пальцами. Секунда. Две. Пять. Десять.

Щелчок.

Замок открылся.

Тибо поднял крышку.

Внутри — Лиза шагнула вперёд и заглянула через плечо конюха — внутри лежали книги. Четыре тетради — толстые, в кожаных переплётах, перехваченные бечёвкой. И поверх них — мешочек. Холщовый, тяжёлый, позвякивающий при каждом движении.

Годфруа потянулся к мешочку. Развязал. Высыпал на ладонь.

Золото.

Монеты — десятка два, может, больше. Жёлтые, тусклые, с профилем короля Филиппа Пятого. Золотые ливры.

Барон стоял, и монеты лежали на его ладони, и тишина в комнате была такой, что Лиза слышала, как в кухне Берта скоблит котёл.

Потом Годфруа закрыл ладонь.

— Книги, — сказал он. — Дай мне книги.

---

Они читали их втроём — в кабинете барона, за запертой дверью, при свечах, хотя за окном был день. Годфруа — за столом. Лиза — рядом, на стуле. Тибо — стоя, у двери, потому что отказался сесть: «Я конюх, госпожа, мне не полагается».

Лиза не стала спорить. Потом — поспорит. Потом, когда он узнает, кто он на самом деле. Сейчас — книги.

Книги Жервэ были — Лиза отдала ему должное, хотя и ненавидела его уже, ненавидела той холодной, расчётливой ненавистью, которую испытывают к мошенникам, обворовывающим бедных, — книги были образцовыми. Аккуратный почерк, ровные столбцы, каждая запись — с датой, с пояснением, с итогом. Он вёл настоящую бухгалтерию — параллельную, тайную, — и вёл её с тщательностью, которая свидетельствовала либо о профессионализме, либо о паранойе. Скорее — о том и другом.

Доходы поместья де Грасс — реальные — были записаны в левом столбце. Зерно: пшеница, рожь, просо, овёс. Масло. Мёд — с двух пасек, которые барон считал убыточными, а они приносили, оказывается, двадцать ливров в год. Шерсть — с овец, которых барон считал нерентабельными, а они давали пятнадцать ливров. Лес — древесина, которую Жервэ продавал от имени барона, но деньги за неё в официальные книги не вносил.

В правом столбце — то, что Жервэ записывал в официальные книги. Те же позиции — но цифры другие. Ниже. Иногда — вдвое ниже. Иногда — вчетверо.

Между столбцами — разница. Украденное.

Годфруа считал. Лиза помогала — привычка к цифрам, вбитая восемью годами библиотечной каталогизации, пригодилась здесь, как нигде. Они складывали, вычитали, пересчитывали — час, два, три, — и цифра росла, как снежный ком, катящийся с горы, и с каждой новой страницей лицо Годфруа становилось всё блее, а пальцы — всё неподвижнее.

Итог.

За десять лет — с того дня, как Жервэ был нанят, до сегодняшнего — управляющий украл у семьи де Грасс три тысячи четыреста двадцать семь ливров. И четырнадцать су.

Три тысячи четыреста двадцать семь ливров.

Долг графу де Монфору — восемьсот.

Три тысячи четыреста двадцать семь.

Лиза сидела молча и смотрела, как у отца — у этого сломленного, потерянного, доброго, слишком мягкого для этого мира человека — менялось лицо. Как из-под корки усталости и отчаяния проступало что-то другое. Что-то, чего она не видела ни на одной из восьмисот двенадцати страниц, потому что в романе этот момент не наступал — в романе Годфруа де Грасс так и умирал, не узнав правды, на площади перед собором, под топором палача, виноватый в преступлении, которого не совершал, и обворованный человеком, которому доверял.

Но в этой истории — в истории, которую Лиза переписывала, — Годфруа де Грасс сидел за своим столом, и на столе перед ним лежали доказательства, и в его глазах была ярость.

Не слепая. Не горячая. Холодная, чистая, праведная ярость — та, что выпрямляет спины и сжимает кулаки.

— Позови его, — сказал барон.

— Он вернётся через час, — ответила Лиза. — Он всегда возвращается засветло.

— Позови его, когда вернётся. Ко мне. Сюда. — Он посмотрел на книги — на аккуратные, предательские столбцы цифр — и добавил, тихо, почти шёпотом: — И пусть Тибо будет у дверей.

---

Жервэ вернулся в четвёртом часу.

Лиза видела, как он въехал в ворота — на серой кобыле, в дорожном плаще, с тем выражением спокойной деловитости, с которым крысы шныряют по амбару, считая чужое зерно своим. Он спешил, передал кобылу мальчишке-конюху (не Тибо — Тибо стоял у кабинета барона), потряс плащ, вытер потеющие ладони о штаны.

Лиза вышла во двор.

— Жервэ, — сказала она.

Управляющий обернулся. Увидел её — и на его лисьем лице мелькнуло привычное выражение. Не неприязнь — презрение. Ленивое, небрежное презрение к человеку, который не представлял угрозы. Элоиза де Грасс для Жервэ была мебелью — неудобной, уродливой мебелью, которую приходилось терпеть.

— Госпожа Элоиза, — он поклонился — формально, неглубоко. — Чем могу?..

— Барон просит вас к себе. В кабинет. Немедленно.

Жервэ моргнул. Небольшая морщинка — между бровями, едва заметная — пролегла по его лбу. Не тревога. Удивление. Барон никогда не вызывал его «немедленно». Барон вообще редко его вызывал — Жервэ сам приходил с отчётами, когда считал нужным.

— Разумеется, — сказал управляющий. — Позвольте мне переодеться...

— Немедленно, — повторила Лиза. И посмотрела ему в глаза — прямо, не мигая, без той робости, с которой прежняя Элоиза смотрела на всех, кто был старше, умнее, значительнее её.

Жервэ посмотрел в ответ. И — Лиза это увидела — что-то дрогнуло в его взгляде. Не страх — ещё не страх. Но предчувствие. Тонкое, как трещина на льду.

— Хорошо, — сказал он.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.